

Н. ВИРТА

Стрихи эпохи

I. Как создавалась симфония

Москвичи уже слышали Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Это произведение достойно всяческих, самых щедрых похвал. Симфония создана в дни войны, и поэтому наше, я бы сказал, изумление и наш восторг по поводу нее — не просто изумление и восторг перед выдающимся явлением в области музыки; эти наши чувства слиты с еще более могучим чувством — признательностью композитору за его великий патристический подвиг. Произведение велико потому, что в него вложены громадные чувства народа — его великие страдания и его великие радости.

Шостакович в своем авторском предисловии к симфонии пишет: «Много сил и энергии вложил я в это сочинение. Ни когда я не работал с таким подъемом, как сейчас. Есть такое крылатое выражение: «Когда грохочут пушки, тогда молчат музы». Это справедливо относится к тем пушкам, которые своим грохотом подавляют жизнь, радость, счастье, культуру. То грохочут пушки тьмы, насилия и зла. Мы воюем во имя торжества разума над мракобесием, во имя торжества справедливости над варварством. Нет более благородных и возвышенных задач, нежели те, которые вдохновляют нас на борьбу с темными силами гитлеризма. Наши писатели, художники, музыканты во время великой отечественной войны работают громадными идеями нашей эпохи. И когда грохочут пушки, поднимают свой могучий голос наши музы. Никогда и никому не удастся выбить пера из наших рук».

Шостакович отнюдь не задавался целью говорить красивые слова. Дополнено, когда над Ленинградом грохотали

моторы немецких бомбардировщиков, он творил, и взрывы бомб не вынудили его отложить свое перо. Мало кто знает, как писалась Седьмая симфония. Мне посчастливилось присутствовать при рассказе Шостаковича о его работе в осажденном Ленинграде. Часть этого рассказа я записал. Вот он:

«В начале войны — 22 или 23 июня, — рассказывал Шостакович, — я подал заявление о приеме меня добровольцем в Красную Армию. Мне сказали, чтобы я подождал. Второй раз я подал заявление сразу же после речи товарища Сталина, в которой он говорил о народном ополчении. Мне было сказано: мы вас примем, а пока идите и работайте там, где работаете. Я работал в консерватории. Мы кончали наш сезон. Я принимал студентов, писал дипломы, до первого июля у нас были занятия. В отпуск я не пошел, дневал и ночевал в консерватории.

В третий раз я пошел в народное ополчение потому, что думал, что обо мне забыли. В народное ополчение было подано очень много заявлений. Например, подал заявление профессор Николаев, которому уже 70 лет.

Я был зачислен заведующим музыкальной частью в театр народного ополчения. После войны я напишу об этом театре, напишут и другие товарищи. Этот театр выезжал на фронт.

Заведывать музыкальной частью в театре было трудно, потому что она состояла только из баянов. Я снова стал проситься в Красную Армию. Меня принял комиссар. Выслушав мой рапорт, он сказал, что взять меня в армию очень трудно. Он выразил уверенность, что я должен ограничить свою деятельность писанием музыки. Затем я был отчислен из театра народного ополчения, и меня, вопреки моей воле, хотели эвакуировать из

Ленинграда. Я считал, что в Ленинграде я был бы гораздо полезнее. Об этом у меня был серьезный разговор с руководителями ленинградских организаций. Они сказали, что я должен уехать, но я не спешил уезжать из города, где царил боевое настроение. Домашние хозяйки, дети, старики вели себя мужественно. Я всю жизнь буду помнить ленинградских женщин, которые самоотверженно боролись с зажигательными бомбами и вообще проявляли героизм во всем. Женщины Ленинграда вели себя замечательно.

Что касается меня, то я дежурил на крыше консерватории в качестве добровольца-пожарника.

Над Седьмой симфонией я начал работать девятнадцатого июля. 29 сентября закончил третью часть. Настроение было довольно необычное. Три большие части — 52 минуты музыки — были написаны очень быстро. Я думал, что быстрая моя работа может отразиться на качестве, боялся, что на симфонии лежит печать спешки, что она вялая, эта спешка. Но товарищи, которые слушали симфонию, хорошо говорили о ней.

Отлично помню даты. Первая часть была закончена 3 сентября, вторая часть — 17-го, третья часть — 29 сентября. Работал я и в ночное и в дневное время. Случалось, что во время работы были зенитки и падали бомбы. Я все-таки не прекращал писать.

25 сентября в Ленинграде я отпраздновал день своего рождения. Мне исполнилось 35 лет. Особенно много я работал в этот день. И то, что было написано тогда, говорят, особенно волнует...».

Шостакович рассказывал все это своим обычным тихим голосом, иногда задумываясь. Он, разумеется, не предполагал, что рассказ его будет опубликован, и, вероятно, рассердится на меня.

Но Шостакович принадлежит не только самому себе. Его могучий талант — всенародная драгоценность. Народ должен знать, что один из его замечательных сынов — не только обладатель громадных творческих способностей, но что он еще и храбрый, мужественный патриот

в самом благородном и высшем значении этого слова.

И как же велика сила народа, если его дети в дни кровавых битв — одни силой политического и военного гения, другие силой оружия, третьи силой своего таланта — дают пример таких подвигов, что многое совершенное до них бледнеет.

Такой народ непобедим!

II. В Колонном зале

В тот самый день, когда Москва впервые слушала симфонию Шостаковича, в Колонном зале Дома союзов собралось общество, достойное описания. Эти люди до войны, как правило, всегда присутствовали на премьерах новых пьес, на открытии выставок. Писатели, генералы, Герои Советского Союза, художники, композиторы, известные журналисты и не менее известные фоторепортеры — все эти знакомые и много раз виденные лица принесли сюда в этот день нечто совершенно необычное, новое, то, чем живет сейчас вся наша страна, — весенние войны.

Тут было громадное количество военных гимнастеров, перекрещенных боевыми ремнями, зеленых, защитных петлиц, полковых сумок и оружия.

Все это придавало обычному блеску Колонного зала особый, суровый колорит. Я видел ордена, полученные за славные дела и кампании, и ордена новы — за новые славные боевые дела. Тут неизменно добродушный крошечный Ленч с Красной Звездой, награжденный за отвагу и мужество, проявленные в боях против Гудериана на Брянском направлении.

Вот громадный, несколько рассеянный Константин Симонов — поэт в звании старшего батальонного комиссара. Три «пальца», комиссарская звезда. За время войны он написал цикл отличных стихов. Он недавно приехал с фронта, написал новую пьесу. Завтра снова уезжает на фронт. Вот правдивые: Курганов

— автор замечательных очерков о фронте, и Петр Лидов, коротко заметки которого на первой странице «Правды» стапа в ноябрьские и декабрьские дни читала, вливалась в каждое слово.

Фоторепортер Зельма, приехавший с Юго-Западного фронта и собирающийся снова туда же, рассказывает интересные эпизоды из своей походной книжки. Он, как и многие из этих фронтовых ребят, отрастил усы. Это своего рода обет. «До встречи с женами! — говорят они. — До конца войны».

Еще одно знакомое лицо — правдивист Дунаевский. Он в морской форме. Мы были с ним вместе на Северном фронте, он только что оттуда, с самых крайних позиций Красной Армии. Терзаю его вопросами о наших общих знакомых и друзьях.

— Где командир части товарищ Венцеславский? — спрашиваю я об одном замечательном северном моем друге.

— Он уже не командир части. Он большой человек!

— А где тот, а где такой-то? — эти вопросы слышны повсюду. В ответ порой слышится приятное, порою — скорбное, и тогда наступает молчание, и каждый вспоминает погибшего, и он вдруг представляется таким, каким мы его все знали. И становится странно: неужели никогда уже мы не увидим его среди нас?

Группа людей окружила одного из Васильевых — только что окончивших съемки кинофильма «Оборона Царицына». Расспрашивают о том, как делалась картина в этих трудных условиях, интересуются планами режиссеров, создавших «Чапаева» и «Волочаевские дни». В этой же группе вижу медлительного, спокойного Варламова — одного из режиссеров картины «Разгром немецких войск под Москвой».

Гудит, шумит необычное собрание, обединившее москвичей, живших с разных фронтов, прилетевших или приехавших из разных концов страны, где кипит великая работа, направленная к одной цели. Столько еще вопросов, столько еще разговоров, но звонок призывает

в зал. Назначаются встречи, поторога записываются адреса, номера телефонов, левых почтовых станций... Гудит постепенно смолкает, оркестр уже ждет дирижера.

Рядом со мной сидят два старинных знаменитых приятеля — кинооператор Кармен, чья храбрость и оперативность вошли в поговорку, и Пыля Мазурук — Герой Советского Союза, герой ледовых полетов, сейчас заместитель Палашина, один из «хозяев» Великого Северного морского пути, существование которого мешает спокойно спать гитлеровцам.

Кармен не раз снимал своего приятеля на острове Рудольфа, в бухте Тихой и в других столь же отдаленных местах. Мазурук не раз «подбрасывает» Кармена во время его всегда рискованных экспедиций. Между ними идет разговор.

Мазурук: — Ну, а что же тебе перь?

Кармен: — Завтра еду в Ленинград снимать картину «Оборона Ленинграда». Может быть, у нее будет и другое название! — Он многозначительно улыбается.

Мазурук: — Хорошо. Жаль, что раньше не собрался, я бы тебя отправил самолетом.

Кармен: — Проеду и в грузовике!

Мазурук: — Оружие есть?

Кармен: — Есть. Это есть!

Мазурук: — А то дам, если нужно. Не забудь захватить гранаты, — смотри, пригодятся.

Кармен: — Захватю и гранат.

Мазурук: — Ну, ни пуха тебе, ни пера.

...На эстраде появляется Самосуд, и этот знаменательный разговор прерывается. В перерыве Кармен пропадает с нами. Он спешит к грузовику, в дальний и опасный путь. Он уходит — этот всегда жизнерадостный человек с лицом юности и копной седыми волосами. Но он вернется, он привезет из города храбров новую кинокартину, и мы надемся, что она будет носить победное название.

Москва.

Апрель.